

Нашему земляку, замечательному писателю-фронтовику, лауреату Государственной премии СССР и Государственной премии РФ Григорию Яковлевичу Бакланову недавно исполнилось 85 лет. Накануне этого события мы позвонили писателю. В ответ на наши поздравления и пожелания творческого долголетия, здоровья и благополучия Григорий Яковлевич подчеркнул, что никогда не прерывал связующей его с родным городом нити, и теперь не оставляет надежды на ближайшую встречу с воронежцами. Он с радостью дал согласие на публикацию своего рассказа «Надя» в нашем альманахе и пожелал успешного старта новому изданию.



Рассказ, который сегодня печатает «Университетская площадь», о самых первых днях без войны, о Воронеже, возвращаемся к мирной жизни. И тогда, в 1946-м, и сейчас, уже спустя шесть десятилетий, автор военной прозы остается верен своему поколению, мальчишками ушедшему на фронт и оставшемуся там «навечно двенадцатилетними». «Для каждого, кто прошел войну, она не становится отдельным воспоминанием, она — часть его жизни, продолжает жить в нем. С ней соотносятся сегодняшние поступки, в ней можно найти начало многих нынешних событий, как во времени предвоенном начиналось многое из того, что получило завершение, развязку или объяснение на войне». Эти слова Григория Яковлевича Бакланова нам всем — урок памяти.

Григорий Бакланов

НАДЯ

Рассказ

Война кончилась, но все еще жило и мыслилось войной и ждали тех, кто уже никогда не вернется. А к миру начинали привыкать заново. В этой наставшей для всех мирной жизни надо было и мне что-то с собой делать. Я уже начал писать понемногу, скрывая ото всех, как что-то стыдное. Честолюбивые мечты не одолевали меня, но по ночам, заслонив изнутри ставней окно, я сидел и писал, зачем-то мне это было нужно. И вот решил поступать в институт, многие из тех, кто вернулся с фронта, делали так, решился и я. Однако полагалось иметь аттестат об окончании школы, а я и того не помнил, где и когда он потерялся. Все, что я возил с собой в полевой сумке, — фотографии из дому, два последних письма от брата из-под Москвы, из сорок первого года, — все это пропало, когда меня ранило. Даже почерка Юриного не сохранилось, последнего, что оставалось от него.

Может быть, за Уралом, где война не сгоняла людей со своих мест, города не бомбили и не обстреливали, сбереглись там и письма с фронта, и «похоронки», и все те справки-бумажки, которые сопровождают

нас по жизни, удостоверяя, что мы это мы, а не кто другой, сохранились и пережили своих хозяев. Но в Воронеже стоял фронт, с той и с этой стороны били по городу из орудий, взрывали его, бомбили — где тут чему уцелеть? И школа не уцелела, в которой я учился, и дома нашего не было, да и города фактически не было. Поэтому установили правило: если трое учителей могут подтвердить, что ты закончил школу, получил в свое время аттестат об окончании, тебе могли выдать дубликат аттестата. Трое — это не так мало, если иметь в виду, что одни погибли на фронте, другие — в тылу от голода и болезней, а чей-то след затерялся в эвакуации... Я написал моей однокласснице Наде (так буду называть ее), она разыскала троих учителей, все трое женщины, и среди них грозный наш директор, наша учительница химии Екатерина Николаевна Попова, про которую мы не столько сочинили, сколько из знаменитого пушкинского переделали: «Товарищ, верь, взойдет она, Екатерина Николаевна, восьмой класс вспрянет ото сна, и на листках дисциплинарки напишут наши имена...» Нам это казалось необычайно остроумным.

Был где-то еще и четвертый, мужчина, он вел у нас русский язык и литературу, он уже тогда, на наш взгляд, был пожилым. Его я вижу ясно, а лица столько близких мне людей отдалило время, и они смутно различимы. Бывало, принесет он кипу наших контрольных работ, положит на стол. «Посмотрим, кто у нас сегодня будущешники...» И выкликает по фамилиям тех, кто «будущее» написал через «ю», чтобы они встали, а все на них посмотрели. Одной из «будущешниц», Мусе Владимировой — она была на год старше нас, на тот второй год, на который осталась сидеть в восьмом классе, — он говорил не раз: «По-настоящему фамилия твоя Во-ло-ди-ми-ро-ва!» Как он это произносил! И вот рассказывали, что он во время войны служил немцам.

Поезд на разбитый воронежский вокзал прибывал утром. С немецкой полевой сумкой в руке, куда я собрал немного, что требовалось в дорогу, я вышел заранее в тамбур и поверх голов смотрел на перрон, вдоль которого мы проезжали. Там среди встречавших стояла Надя. В шерстяном платке, в ботиках, которыми она постукивала нога об ногу, она глядела растерянно. Мелькали перед лицом вагоны, окна, лица, она дергала головой вслед. Спрыгнув, скользя и раскатываясь подошвами сапог по натопанному снегу, я бежал к ней, а она глядела мимо. Вскрикнула, когда я набежал, вспыхнула до слез, мы так с ней от души радостно обнялись и расцеловались, как уже никогда после. И весь этот день за руку, под руку, рядом ходили мы по Воронежу, приходили к нашим учителям, и всюду нам радовались. Сказать по правде, я считал, что радуются, главным образом, мне — я вернулся с фронта. Но наша учительница географии, оставшаяся после войны одинокой, уже провожая нас, прижала к себе Надю в сенях, поцеловала ее в голову, а та вспыхнула благодарно.

Обедали мы с Надей на проспекте Революции в ресторане «Бристоля». Все предвоенные годы я видел огромные окна этого ресторана из окон нашей квартиры или с балкона — мы жили как раз напротив. За кремовыми сборчатыми шторами там звучала музыка по вечерам, шла своя неведомая жизнь, а в поздний час швейцар, похожий на адмирала, распахивал двери и выталкивал пьяного, тот сразу же начинал рваться обратно. Под рестораном были магазины, их разделяла арка во двор, и там, во дворе, жила Надя, а в эти магазины столько раз становились мы в очередь: за маслом, за селедками, за дешевыми конфетами вмес-

то сахара. Обычно за маслом подымались в пять утра, давали его по четыреста граммов в одни руки, номер очереди писали чернильным карандашом на ладони. Однажды я выбил в кассе чек на семьдесят пять граммов монпансье — на сто граммов у меня не хватило. И продавец при всех добил меня словом: «Как же это ты, мальчик, высчитал?..»

В гардеробе я снял с Нади шубку, платок, она пригладила волосы на висках ладошками, обернула тесноватые рукава платья, шепнула: «Как думаешь, ничего, если я ботики не сниму?» Я шел впереди, она, робея, как школьница, следовала за мной, я пропускал ее в дверях. И вот мы сидим друг против друга в высоком холодном зале у высокого окна. Стол покрыт жесткой от крахмала холодной скатертью. Крупный снег падает за окном, я смотрю, как на той стороне он сыплется внутрь нашего дома, куда провалилась крыша, рухнули перекрытия, полы, когда-то крашенные масляной краской, столько раз мытые... На все на это, погребенное, падает снег. Он сыплется сквозь металлический остов балкона, уцелевший над пустотой. Здесь росли в деревянных ящиках повители, петунии, табачки, сильно пахли они по вечерам. А по каменной лестнице, обрушенной и заваленной шебенкой и снегом, вбежала, помню, на балкон моя сестра: «Мы с Тоней идем на фронт!..» И вот я смотрю из «Бристоля», как туда, внутрь нашего дома, падает снег, и целая жизнь, которой нет и как будто вовсе не было, у меня перед глазами.

Подошла официантка, ставя графинчик, оценивающе оглядела Надю опытным своим взглядом бывалой женщины, чуть улыбнулась мне, вроде как своему. На миг и я увидел ее глазами Надю, стесненную непривычной ресторанной обстановкой, неуверенную в себе, косы ее жиденькие крендельком на затылке, запудренные прыщики у корней волос на большом выпуклом лбу. Сколько раз я списывал у нее контрольные по математике, весь восьмой и девятый класс, пока не перешел учиться в авиатехникум.

— Помнишь, мы собирались у меня в восьмом классе? — хватается Надя за прошлое, в котором она уверенней. — А помнишь, здесь раньше стояли Михайловские часы.

Да, правда, Михайловские. Уже не помню, почему они так назывались, их еще до войны снесли, немного сегодня найдется людей на свете, которые помнят их, зеленую дощатую будку на проспекте Революции.

Я смотрел туда, где они стояли, и видел, как здесь же, у «Бристоля», на садовой ска-

мейке я сдавал экзамен по химии нашей строгой директрисе Екатерине Николаевне. Война уже шла, но наш год все не призывали. И вдруг разнесся слух — много тогда возникало всяческих слухов, — что возьмут вначале тех, кто закончил десятилетку, а я не закончил, я из девятого класса пошел в авиатехникум. Вот тогда мы со школьным моим другом Димкой Мансуровым решили, что мне надо срочно сдавать экстерном за десятый класс — на фронт мы хотели идти вместе. И химию у меня принимали на садовой скамейке, а на другой скамейке сидел Димка, подсказывал, потом к нему сел пьяный и очень веселился. «Ты на себя посмотри! — возмущалась Екатерина Николаевна. — Нет, ты посмотри на себя и на Мансурова! Мансуров идет, я понимаю, от него прок будет. А ты что идешь?» И вот жива Екатерина Николаевна, жив я, приехал в Воронеж за аттестатом, а Димки Мансурова нет.

Однажды зимой мы шли с ним из бани по морозу и все не могли расстаться никак: то он проводит меня, то я его провожу. Мы решали, как будем жить дальше, и решили вот что: я заканчиваю авиатехникум, иду работать и помогаю ему, пока он закончит институт. Потом поступаю в институт я, а он помогает мне. Это была последняя предвоенная зима, следующей зимой или весной — не знаю точно — Дима Мансуров сгорел в танке.

Помню, как явились мы с ним на вокзал брать билеты до Смоленска — там, в районе Вязмы или Смоленска, воевал полк, в котором мой брат был командиром орудия, мы хотели бежать к нему. Смоленск был уже взят, но разнесся слух, что наши опять освободили город. Как тогда верили слухам, как хотели верить! Дежурный по вокзалу повел нас к себе и осторожно выспрашивал: правда ли, Смоленск опять наш, откуда нам это известно? Билет нам, конечно, не дали. А через вокзал шли, шли эшелоны, в товарных вагонах, в открытых дверях стояли, сидели молодые ребята во всем военном; им повезло, они были старше нас на год, на два года. Эшелоны мчались, увозя этих молодых ребят, я вижу и сейчас, как они глядели из вагонов, я часто думаю об их судьбах.

До позднего вечера ходили мы с Надей по Воронежу, то рядом, то друг за другом по

тропкам, протоптанным на тротуарах в снегу. Редко позванивали трамваи, сквозь морозные окна они освещали улицу вокруг себя и свет уволакивали с собой. Машин почти не было, на Театральной площади перед уцелевшим драматическим театром с колоннами мигнул светофор и провели козу. Старик тянул ее за рога на веревке, старуха подпихивала сзади варежками, коза упиралась посреди площади.

Не засвеченная электрическим заревом полная луна стояла над городом, над развалинами Девичьего монастыря и светила, как в поле. Еще на моей памяти жили там в кельях монашенки, мережили на заказ простыни, батистовые носовые платки, наволочки, с великим прилежанием вышивали гладью чужие монограммы. Засыпанные снегом кирпичные развалины напоминали издали черный силуэт согбенного монаха с посохом. И пока мы шли, луна, светившая над ним, и монах, казалось, движутся сквозь косо летящий снег. Надя рассказывала, будто из этих развалин, когда ушли немцы из города, вылез обросший, дикого образа человек с длинными ногтями, скрывавшийся в подвалах... Много таких легенд ходило по Воронежу.

Жила Надя теперь под горой. У дошатого, засыпанного снегом забора мы долго стояли. Я распахнул шинель, полами охватил Надю, прижал к себе.

— Но ведь не любишь, — сказала она, готовая поверить. И это остановило.

Постелили мне на полу. Младшая Надина сестренка все заглядывала, выдумывала себе какое-нибудь дело, чтобы зайти: любопытно ей было, как мы сидим вдвоем на кухне, пьем чай. Засыпая, я долго еще слышал шепот за перегородкой, это мать что-то шептала Наде.

На другой день Надя провожала меня. Опять я стоял в тамбуре, поезд тронулся, я махал рукой, и перрон, и Надя в ботиках — все отдалялось в косо летящем снегу. И даже в этот момент ничего я не понимал и не чувствовал, кроме смутной вины перед ней. А ведь два дня назад она встречала здесь суженого, которого судьба сберегла для нее, но только я это понял много позже. Да и кого же еще было ей ждать, встречать, если из всего класса, из всех наших ребят я один вернулся с фронта.

